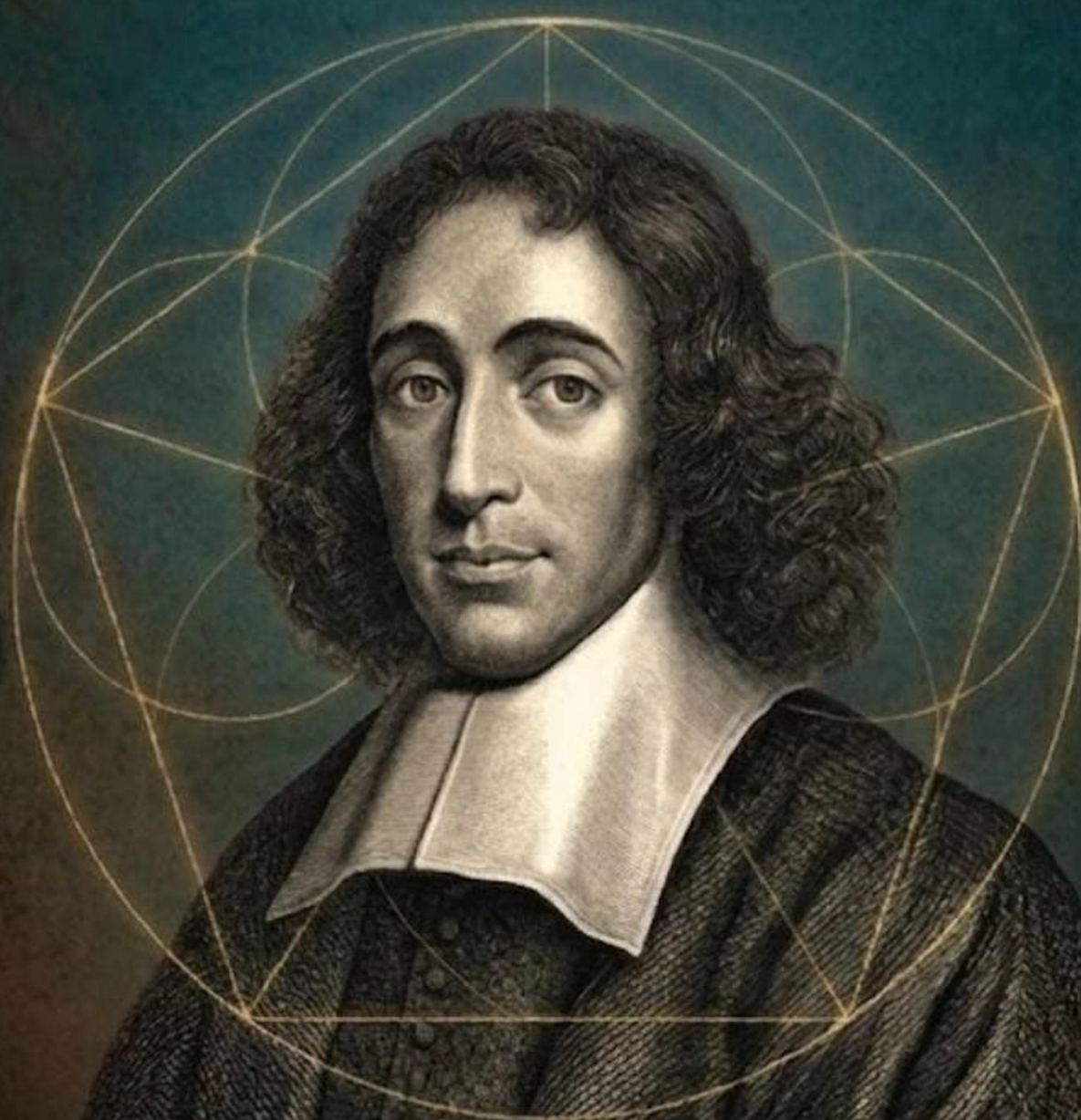


И. Карлинский

БЕНЕДИКТ СПИНОЗА
ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ СВОБОДЫ
Роман-эссе



Илья Карлинский

**Бенедикт Спиноза, или
Геометрия свободы**

«Автор»

2026

Карлинский И.

Бенедикт Спиноза, или Геометрия свободы / И. Карлинский —
«Автор», 2026

Роман-эссе «Бенедикт Спиноза, или Геометрия свободы» представляет собой масштабное, глубокое историко-философское повествование, посвященное жизни, внутренним исканиям и интеллектуальному подвигу одного из самых смелых и оригинальных мыслителей Нового времени — Баруха (Бенедикта) Спинозы. Сочетая документальную точность биографического исследования с художественной выразительностью и философской рефлексией, автор реконструирует не просто жизнеописание философа, но саму «историю работы» — терпеливого, честного и бескомпромиссного построения целостной системы мироздания из чистого разума. Роман адресован широкому кругу читателей: любителям качественной исторической прозы, интеллектуальных биографий и всем, кто интересуется историей философии. Книга будет особенно интересна тем, кто ищет ответы на фундаментальные вопросы о природе свободы, границах человеческого разума и возможностях обретения внутреннего мира и гармонии в условиях внешнего кризиса и одиночества.

© Карлинский И., 2026

© Автор, 2026

Илья Карлинский

Бенедикт Спиноза, или Геометрия свободы

ПРОЛОГ

Площадь у синагоги. Амстердам, 27 июля 1656 года

Шофар закричал в четверть восьмого вечера.

Барух Спиноза стоял на другой стороне канала и считал секунды между вдохами — так, как считают люди, которые пытаются убедить себя, что дышат спокойно, хотя на самом деле не дышат вовсе. Воздух над Влоойенбургом был тяжёлым, влажным, пропитанным запахом стоячей воды и рыбного рынка, который закрылся два часа назад, но не исчез — только отступил, затаился в щелях между булыжниками. Июль в Амстердаме — это не жара южных стран, которую Барух знал только по рассказам. Это духота без права на ветер. Небо цвета застывшего олова. Пот под воротником кафтана.

Он держал шляпу в руках.

Это было странно — он заметил это только сейчас. Снять шляпу перед синагогой он не собирался. Просто руки сами взяли её, когда он вышел из переулочка, и теперь держали — чёрный фетр, немного потёртый у полей, — как держат что-то, что не знают куда деть.

Ему было двадцать три года.

Синагога «Таль Тора» стояла на другом берегу узкого канала, в трёх минутах ходьбы, если идти через мост. Барух не пошёл через мост. Он остановился здесь, у воды, среди людей, которые тоже остановились — зеваки, прохожие, несколько женщин в тёмных платьях, которые, судя по всему, знали, что сейчас произойдёт, и пришли — не из злорадства, нет, скорее из той тяги к важным событиям, которая заставляет людей стоять под дождём у чужих похорон.

Потому что это и было похоронами. Своего рода.

Шофар прокричал второй раз — долго, надрывно, с тем особым надломом в конце, который Барух знал с детства: он слышал этот звук каждый Рош ха-Шана, каждый Йом Кипур, и звук этот всегда означал одно — граница. Здесь заканчивается одно. Здесь начинается другое.

Потом внутри синагоги зажгли свечи — чёрные, траурные — и их свет лёг на воду канала жёлтыми дрожащими пятнами.

Потом начали читать.

Слова херема Барух знал почти наизусть. Не потому что готовился. А потому что текст был старым, хорошо известным в общине — его применяли редко, но каждый раз, когда применяли, об этом говорили долго. Уриэль да Коста. Хуан де Прадо. Теперь — он.

Текст читали по-португальски. Именно это — португальский, язык матери, язык детства, язык, на котором отец диктовал письма поставщикам в Бразилию, — именно это оказалось неожиданно трудно. Не слова. Язык.

«По решению ангелов и по приговору святых, мы отлучаем, изгоняем, проклинаем и предаём анафеме Баруха де Эспинозу...»

Голос хазана доносился глухо, сквозь толстые стены и узкие окна, но в тишине, которая установилась вокруг синагоги, слова всё равно добивались до воды и до людей у воды.

«...с согласия всего святого общества, перед лицом святых книг с шестьюстами тридцатью заповедями, которые в них написаны; проклятием, которым Иисус Навин проклял Иерихон; проклятием, которым Елисей проклял детей; и всеми проклятиями, которые написаны в Законе...»

Одна из женщин рядом с Барухом тихо охнула. Он не посмотрел в её сторону.

«...Да будет он проклят днём и да будет он проклят ночью; да будет он проклят, когда ложится, и да будет он проклят, когда встаёт; да будет он проклят, когда выходит, и да будет он проклят, когда входит...»

Барух смотрел на свечной свет в воде канала. Пятна качались — лодка прошла где-то выше по течению, и вода пришла в движение.

«...Никто не должен говорить с ним устно или письменно, не должен оказывать ему никакой услуги, не должен жить с ним под одной крышей, не должен подходить к нему ближе чем на четыре локтя, и никто не должен читать ни одного документа, составленного или написанного им...»

Четыре локтя. Примерно два шага. Барух машинально посмотрел вниз — на булыжники под ногами, на расстояние до ближайшего прохожего. Тот стоял дальше. Пока.

Шофар закричал в третий раз.

Свечи внутри синагоги погасли.

Тишина после этого была особенной. Не пустой — наполненной. Люди вокруг не расходились сразу, как будто ждали чего-то ещё, какого-то знака, что церемония действительно закончена и можно дышать. Барух ждал вместе с ними. Потом понял, что тоже ждёт — и это его удивило. Чего он ждал? Что небо треснет? Что земля разверзнется под ногами? Что он сам почувствует что-то — страх, боль, облегчение?

Он почувствовал усталость.

И жажду. Он хотел пить.

Это тоже было неожиданно: самый важный момент его жизни, и он думал о стакане воды.

Потом он подумал: а может, это и есть ответ. Жизнь продолжается. Тело хочет пить. Ноги устали стоять. Воздух по-прежнему пахнет рыбой и водорослями. Херем прочитан — и ничего не изменилось в устройстве мира. Только в устройстве его места в нём.

Он надел шляпу.

На мосту, когда он всё же пошёл домой через него — другим путём, длиннее, но привычным, — его остановил старик. Барух не сразу узнал его в вечернем свете: Шмуэль Перейра, бывший сосед отца, человек, который знал его с младенчества, который приходил на похороны матери и держал семилетнего Баруха за руку.

Старик посмотрел на него. Потом — по сторонам, быстро, незаметно, как смотрят люди, когда собираются сделать что-то запрещённое.

Он кивнул.

Просто кивнул — чуть заметно, одним движением головы.

Барух кивнул в ответ.

Старик пошёл дальше. Барух стоял на мосту ещё минуту, глядя на воду под ногами, на тёмные отражения домов, на огни, которые начинали зажигаться в окнах. Амстердам готовился к ночи — спокойно, деловито, без лишних эмоций, как город, который видел всякое и давно перестал удивляться.

Он подумал: один кивок. Это немного. Но это что-то.

Дома — он снимал комнату у оптика Хомниуса, с тех пор как съехал из семейного дома, — он налил воды из кувшина, выпил, сел за стол. На столе лежала начатая рукопись — листы мелко исписанной бумаги, вверху по-латински: *Tractatus brevis de Deo et homine eiusque felicitate*. Краткий трактат о Боге, человеке и его счастье.

Он взял перо.

Подержал его в руках — как раньше держал шляпу.

Потом положил обратно и долго смотрел в окно. За окном был канал, за каналом — силуэт синагоги, в которой уже не горело ни одной свечи. Здание стояло тёмным и тихим, как стоит всякое здание ночью, когда люди из него ушли.

Они думают, что наказывают меня, — подумал Барух Спиноза — Они не знают, что открывают мне дверь.

Он не был уверен в этом. Он не был уверен ни в чём в эту ночь, кроме одного: что рукопись на столе важнее, чем что бы то ни было, что произошло сегодня вечером у канала. Что вопросы, которые он задаёт в этих листах — о природе Бога, о свободе, о том, что значит жить хорошо, — не стали менее важными от того, что один город объявил его изгоем. Скорее наоборот.

Он снова взял перо.

На этот раз он написал.

Этой ночью он не думал о том, что его будут читать через триста пятьдесят лет. Не думал о том, что его имя станет синонимом интеллектуальной смелости. Не думал о Гёте, который скажет: «Когда мне плохо, я открываю Спинозу». Не думал об Эйнштейне с его «Богом Спинозы». Не думал о нейробиологах, которые найдут в его описании страстей предчувствие современной науки о мозге.

Он думал об одном: что истина не нуждается в разрешении. Что она либо есть, либо её нет. И что узнать это — единственное, ради чего стоит тратить время.

За окном Амстердам шумел, дышал, пах, жил.

Перо скрипело по бумаге.

Шофар давно умолк.

В этой книге рассказывается о том, как один человек — отлучённый, одинокий, небогатый, больной — построил из чистого разума систему, которая изменила то, как мы думаем о Боге, свободе, государстве и счастье. Это не история триумфа. Это история работы. Самой терпеливой, самой честной работы, которую только можно себе представить.

Начнём с начала.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

«КОРНИ»

Амстердам, 1632–1656

Глава 1

«Дом на канале»

Михаэль де Спиноза диктовал письмо, не глядя на сына.

Это была его привычка — диктовать, расхаживая по конторе, заложив руки за спину, останавливаясь иногда у окна, чтобы посмотреть на канал, потом снова трогаясь с места. Слова выходили ровно, без запинок, как у человека, который много раз говорил похожие вещи и знает, что главное — не забыть о цене доставки.

...и сообщаю вам, уважаемый господин Азеведо, что партия бразильского сахара, отправленная в марте, прибыла с недостачей в четыре арробы, о чём прошу составить соответствующий акт и переслать мне копию до конца месяца. Кроме того, относительно следующей партии...

Барух писал. Ему было тринадцать лет, рука уже не уставала от пера, и он мог писать письма отца почти автоматически — пальцы делали своё дело, пока голова занималась другим. Сегодня голова занималась вопросом, который он прочёл утром в школе раввина Мортейры и который с тех пор не давал покоя.

Вопрос был простой. Слишком простой для того, чтобы ответ на него был прост.

— ...и прошу передать поклон вашему брату и сообщить ему, что его векселя будут оплачены в срок. Всё. — Михаэль остановился у окна. — Ты записал?

— Да, отец.

— Прочти последний абзац.

Барух прочёл. Михаэль кивнул — удовлетворённо, но без похвалы. Похвала была не в его обычае. Он считал, что делать дело хорошо — это норма, а не повод для восторга.

— Перепиши набело и отдай Аврааму для отправки. — Он повернулся и посмотрел на сына. — Потом иди готовиться к уроку. Сегодня у тебя что?

— Комментарий Раши к недельной главе.

— Ты читал?

— Читал.

— Есть вопросы?

Барух помедлил секунду — совсем чуть-чуть, но отец заметил.

— Есть, — сказал Барух.

Вопрос, который он задал, был следующим.

В книге Исход, в главе тридцать третьей, сказано, что Господь говорил с Моисеем лицом к лицу, как говорит человек с другом своим. Но в той же главе, несколькими стихами ниже, Господь говорит Моисею: лица Моего не можно тебе увидеть, потому что человек не может увидеть Меня и остаться в живых.

— Это одна глава, — сказал Барух. — Это несколько стихов. Как может быть и то, и другое правдой?

Михаэль смотрел на сына долгую секунду. Не с раздражением — с тем выражением, которое Барух научился читать со временем: отец думал, как ответить, и это само по себе означало, что вопрос непрост.

— Комментаторы объясняют, — сказал Михаэль наконец.

— Я знаю. Раши говорит, что «лицом к лицу» означает близость, а не буквальное лицо. Ибн Эзра говорит, что Моисей видел задние части, а не лицо.

— Тогда в чём твой вопрос?

— Мой вопрос в том, — сказал Барух медленно, подбирая слова, — почему текст написан так, что требует объяснений. Если Тора — слово Бога, почему Бог написал её так, что люди должны несколько столетий объяснять, что Он имел в виду?

Михаэль молчал.

За окном по каналу прошла баржа с дровами. Лодочник что-то крикнул кому-то на берегу, засмеялся — грубый, живой смех человека, у которого сегодня хорошее настроение.

— Это не твой вопрос, — сказал Михаэль наконец. — Это вопрос, на который у людей мудрее нас с тобой уже есть ответы. Иди к раввину Мортейре и спроси у него. Он объяснит.

— Я спрошу, — сказал Барух.

Он переписал письмо, отдал Аврааму, оделся и вышел на улицу. Уже у двери он услышал, как отец вздохнул — не тяжело, не с сожалением. Просто выдохнул воздух. Как человек, который поднял что-то тяжёлое и поставил обратно.

Влоойенбург — квартал, где жила семья де Спиноза, — был сердцем португальско-еврейской общины Амстердама. Не самым красивым сердцем, надо признать: улочки узкие, дома стоят плотно, каналы между ними темнее, чем в парадном центре города, и запах здесь всегда чуть острее — рыба, пряности, дублёная кожа со склада дяди Мануэля. Но это было живое место. Шумное. Барух любил его шум.

Он шёл по улице и смотрел.

Вот портной Исаак Карвальо сидит у открытой двери с шитьём на коленях и жмурится на солнце — он приехал в Амстердам из Лиссабона двадцать лет назад, и до сих пор, говорят, иногда во сне молится по-католически, по привычке, выработанной за годы тайного существования. Вот двое мужчин у ворот книжной лавки спорят о чём-то — громко, жестикулируя, — Барух слышит слово «Талмуд» и слово «деньги», и непонятно, как эти два слова оказались в одном споре, но в этом квартале они всегда оказывались. Вот девочка лет восьми тащит за руку маленького брата и говорит ему что-то по-португальски, и мальчик упирается, и девочка

— с той интонацией, которую Барух слышал от собственной матери, которой больше нет, — говорит: *anda, anda, menino* — иди, иди, малыш.

Мать умерла семь лет назад.

Он не думал о ней часто. Или думал, но не понимал, что думает — образ её был слишком ранним, слишком вплавленным в те первые годы, которые помнятся не отдельными воспоминаниями, а общим ощущением тепла и запаха. Ана де Эндрада де Спиноза. Она пела, когда зажигала субботние свечи. Больше он не помнил почти ничего конкретного.

Вопрос, который он задал отцу, появился не сегодня. Он появился семь лет назад — когда умерла мать, и раввин Мортейра сказал, что Бог забрал её к Себе, потому что она была праведной, и Барух стоял у гроба и думал: если Бог забирает праведных — зачем тогда быть праведным?

Он не спросил этого вслух.

Он был шестилетним мальчиком. Некоторые вопросы ждут.

Школа раввина Мортейры — Кетер Тора, — была лучшей еврейской школой в Амстердаме. Может быть, лучшей в Европе, хотя об этом спорили. Барух учился в ней с пяти лет и знал её запах: старая бумага, чернила, немного сырость от близкого канала, и ещё что-то неопределимое — запах многих умов, долго работавших в одном помещении.

Сегодня раввин Мортейра сидел за своим столом и смотрел поверх очков на молодого Спинозу с выражением, которое можно было прочесть по-разному.

— Ты опять пришёл с вопросом, — сказал он. Не спросил — констатировал.

— Вы всегда говорили, что вопросы — это хорошо.

— Хорошие вопросы — это хорошо. Садись.

Барух сел. Изложил вопрос — тот же, что отцу, только точнее, потому что за время дороги успел его отточить.

Мортейра слушал внимательно. Он был человеком умным — Барух никогда в этом не сомневался — и честным в той мере, в какой позволяла его должность.

— Ты спрашиваешь, почему Тора написана так, что нуждается в комментариях, — сказал раввин. — Это не вопрос о тексте. Это вопрос о природе откровения.

— Да, — согласился Барух. — Именно это я и спрашиваю.

— Откровение обращено к людям, — сказал Мортейра. — Люди разные. Простец понимает «лицом к лицу» буквально — и это даёт ему образ Бога, который он может держать в уме. Учёный понимает это как метафору близости — и это даёт ему более точное понятие. Оба правы. Тора написана так, чтобы говорить с каждым на его языке.

Барух подумал.

— Но тогда, — сказал он, — получается, что Тора говорит не истину. Она говорит разным людям разные вещи. Если простец думает, что у Бога есть лицо — он ошибается. Если учёный думает, что «лицом к лицу» — это метафора — он, возможно, прав. Но тогда Тора намеренно вводит простеца в заблуждение?

Мортейра снял очки. Потёр переносицу.

— Нет, — сказал он. — Она не вводит его в заблуждение. Она говорит с ним на том уровне, на котором он способен понять.

— Но если он думает что-то неправильное о природе Бога — это заблуждение. Пусть полезное. Пусть доброе. Но заблуждение.

Пауза.

— Ты очень молод, Барух, — сказал раввин Мортейра. Не с осуждением. Скорее с чем-то похожим на усталую нежность. — Иногда ты задаёшь вопросы, на которые нет хороших ответов. Это не значит, что вопросы плохие. Это значит, что некоторые вещи нужно принять.

— Принять — значит перестать спрашивать?

— Принять — значит понять, что человеческий разум имеет пределы.

Барух кивнул. Вежливо. Но дома, поздно вечером, при свече, он записал в тетрадь: *«Если пределы разума — это аргумент, то этим аргументом можно оправдать любое заблуждение. Нет. Пределы разума — это то, что нужно исследовать, а не то, что нужно принять»*.

Ему было тринадцать лет.

Торговая контора семьи де Спиноза находилась на первом этаже их дома на Хоутграхте. Отец купил этот дом десять лет назад, когда дела шли хорошо. Дела шли хорошо не всегда, но дом оставался — как доказательство того, что когда-то было лучше и, следовательно, может быть лучше снова.

Барух любил контору.

Не так, как любил книги — с тем нетерпением, с которым открываешь новую страницу. Контору он любил иначе — как любят место, где понятны правила. Здесь всё было измеримо: вес товара, цена, срок доставки, процент прибыли. Здесь не было туманных откровений и метафор, которые значат разное для разных людей. Здесь мешок сахара весил ровно столько, сколько весил, и никакой комментарий не мог изменить этого факта.

Может быть, именно поэтому он так любил математику.

Отец не понимал этой любви — не потому что был против, а потому что не понимал, зачем математика нужна за пределами торговли. Считать прибыль и убытки, вычислять проценты, прикидывать вес груза — это да, это нужно. Но зачем сидеть по вечерам над доказательствами геометрических теорем, которые никогда не пригодятся при покупке сахара?

— Потому что они истинны, — объяснил однажды Барух.

Отец посмотрел на него.

— Что значит — истинны?

— Это значит, что они правда не потому что кто-то так решил. И не потому что так написано в книге. А потому что из самой природы вещей иначе быть не может. Если треугольник — это три угла, сумма которых равна ста восьмидесяти градусам, то это правда везде и всегда. В Амстердаме и в Бразилии. При Моисее и сейчас. Это нельзя отменить херемом.

Последние слова он добавил не подумав.

Михаэль посмотрел на сына долгим взглядом.

— Иди ужинать, — сказал он наконец.

Но той ночью Барух слышал, как отец долго не спит — ходит по комнате, останавливается, снова ходит.

Склад был в подвале под конторой, и Барух часто помогал там — пересчитывать тюки, проверять накладные, записывать прибывший товар. Это была работа монотонная, требовавшая внимания, но не воображения, и Барух научился её делать, одновременно думая о другом.

Среди ящиков с товаром стояла старая бочка, приспособленная под сиденье, и на этой бочке Барух иногда читал — быстро, пока отец не пришёл. Книги он брал из школы. Однажды взял не школьную книгу.

Это был арабский текст в ивритском переложении — «Намерения философов» Аль-Газали. Книгу дал ему старший ученик, Биньямин Мусафия, который сам до конца её не прочёл и отдал Баруху с ленивым великодушием человека, избавляющегося от ненужного. Аль-Газали писал об Аристотеле — излагал его взгляды перед тем, как опровергнуть. Но Барух читал изложение Аристотеля и не понимал, что тут опровергать. Аристотель казался ему разумнее любого опровержения.

Особенно — понятие о форме и материи. О том, что всякая вещь состоит из того, из чего она сделана, и из того, что она есть. Что мрамор — это материя, а статуя — это форма. Что одна и та же материя может принять разные формы. Что форма — это то, что делает вещь собой.

Барух сидел на бочке среди тюков с тканью и думал: а что тогда форма Бога? Если Бог — не материя (это все говорят: Бог бесплотен), то что Он такое? Чистая форма без материи? Но форма без материи — это что? Идея? Закон? Принцип?

Может быть, Бог — это принцип.

Может быть, Бог — это то, что делает мир собой.

Он ещё не умел сказать это точнее. Ему было четырнадцать лет, и у него не было слов для того, что он чувствовал, — только ощущение, что где-то впереди есть ответ, и что ответ этот будет не похож на то, что говорит раввин Мортейра.

Субботнее утро в синагоге.

Барух любил синагогу — любил именно это: белые стены, высокие окна, свет, который падает на молящихся ровными полосами, гул голосов, который сначала кажется беспорядочным, а потом вдруг складывается во что-то единое, как складывается волны в море, хотя каждая волна сама по себе. Запах пчелиного воска. Запах праздничной одежды.

Он стоял рядом с отцом и слушал, как хазан поёт *Шма Израэль*.

Слушай, Израиль: Господь — Бог наш, Господь один.

Слова он знал с трёх лет. Они жили в нём так глубоко, что он уже не думал о них — они были просто частью его, как дыхание. Но сегодня — может быть, из-за Аль-Газали, может быть, из-за разговора с Мортейрой — он вдруг услышал их заново.

Господь один.

Один. Единственный. Не один из многих. Единственный.

Он подумал: если Господь один — один-единственный, без второго, — то что значит быть единственным? Это значит: нет ничего вне Него. Если есть что-то вне Него — Он уже не единственный. Значит, всё, что есть, — это Он. Весь мир — это Он. Каждая вещь — это Он в какой-то форме.

Сосед справа что-то прошептал ему — наверное, найти нужную страницу в сидуре. Барух открыл молитвенник на нужной странице, сделал вид, что читает.

Думал своё.

Если всё, что есть, — это Бог в каких-то формах, то Бог не создал мир из ничего. Бог и есть мир. Мир — это Бог, который существует. Тогда законы природы — это законы Бога. Тогда математика — это язык, на котором Бог устроен.

Тогда доказательство теоремы — это молитва.

Он почти засмеялся. Подавил это. Рядом стоял отец, и Михаэль де Спиноза не оценил бы смех в синагоге во время *Шма*.

Но мысль осталась.

И осталась с ним навсегда.

Вечером того же дня он спросил отца — осторожно, издалека, как человек, который проверяет, держит ли лёд:

— Отец, как вы думаете — Бог знает каждую вещь в мире? Каждый камень, каждого червяка?

Михаэль посмотрел поверх книги, которую читал.

— Конечно. Он всеведущ.

— Но тогда Он думает о каждом камне? Прямо сейчас?

— Его знание не похоже на наше знание. Он знает всё сразу, без усилия.

— Но если Он знает всё — значит, всё находится в Его уме?

— Можно сказать так.

— Тогда весь мир — это Его мысль?

Михаэль закрыл книгу.

— Барух, — сказал он, — есть вопросы, которые задают, и есть вопросы, которые не задают. Не потому что на них нет ответа. А потому что некоторые ответы опаснее незнания.

— Опасны для кого?

— Для тебя. Для нас. Для общины.

Барух кивнул. Снова — вежливо.

— Я понял, отец.

Михаэль де Спиноза посмотрел на сына с тем выражением, которое Барух много позже, уже взрослым, научится читать правильно: не страх, не раздражение — что-то похожее на скорбь. Скорбь человека, который видит, куда ведёт дорога, и не может этому помешать.

— Ты умный мальчик, — сказал отец. — Очень умный. Это хорошо и это плохо одновременно. Умные люди задают правильные вопросы. Но не всегда правильное место для правильных вопросов — это вслух.

— Значит, думать можно?

— Думать всегда можно. — Пауза. — Говорить — не всегда.

Это был один из немногих разговоров с отцом, который Барух помнил потом дословно. Не потому что был согласен. А потому что любил отца — и понимал, что тот говорит правду о том мире, в котором они жили. Просто это был не единственно возможный мир.

Глава 2

«Наставник и сомнение»

Франсиско ван ден Энден встретил нового ученика так, как встречаются задачу, которую интересно решить.

Он был невысок, широкоплеч, с руками, которые, казалось, привыкли делать что-то физическое — хотя Барух никогда не видел, чтобы ван ден Энден делал что-то физическое. Волосы с проседью, взгляд, который не столько смотрел на человека, сколько его взвешивал. Ему было пятьдесят лет, он успел побыть иезуитом, торговцем, книготорговцем, импресарио маленького театра и учителем латыни. Ни одно из этих занятий не сделало его богатым, зато все вместе сделали его человеком, которому не было скучно.

Школа ван ден Эндена занимала первый этаж его дома на Сингеле — несколько комнат с длинными столами, хорошей библиотекой по меркам 1650 года и постоянным запахом типографских чернил. Ученики были разные: дети богатых купцов, желавших дать отпрыскам латинское образование, несколько молодых врачей, учивших медицинскую терминологию, и несколько таких, как Барух, — которых привело сюда не совсем понятное им самим желание знать больше.

Барух пришёл по рекомендации Симона де Вриса — молодого человека из богатой семьи, который учился у ван ден Эндена уже год и говорил о нём с восторгом, немного пугавшим людей более сдержанных.

— Он задаёт вопросы, — сказал Симон. — Настоящие вопросы. Не те, на которые ищет ответа в учебнике.

— Какие же?

— Такие, после которых ты неделю не спишь нормально.

Барух решил, что это звучит хорошо.

На первом уроке ван ден Энден дал ему текст Цицерона — небольшой отрывок из «О природе богов» — и сказал: читай.

Барух прочёл. Перевёл.

— О чём это? — спросил ван ден Энден.

— Цицерон рассуждает о том, существуют ли боги и каковы их свойства.

— Нет. — Учитель покачал головой. — Я спросил не что там написано. Я спросил — о чём это.

Барух остановился.

— Это о том, — сказал он медленно, — может ли человеческий разум прийти к знанию о Боге самостоятельно, без откровения.

— Лучше. — Ван ден Энден откинулся на спинку стула. — И каков ответ Цицерона?

— Он не уверен. Он излагает три позиции — эпикурейцев, стоиков, академиков — и не принимает ни одной полностью.

— А ты что думаешь?

Барух поднял глаза от текста.

— Я думаю, что Цицерон не уверен, потому что задаёт вопрос неправильно.

— Интересно. — Ван ден Энден наклонился вперёд. — Продолжай.

— Он спрашивает: существуют ли боги? Но этот вопрос предполагает, что боги — это что-то, что либо существует, либо нет, как предмет. Стол либо есть в комнате, либо его нет. Но если Бог — это не предмет, а принцип — то вопрос «существует ли Он» неправильный. Правильный вопрос: что такое Бог?

Долгое молчание.

— Тебе восемнадцать лет? — спросил ван ден Энден.

— Да.

— Ты читал Декарта?

— Нет.

— Начнём с Декарта.

Декарт открылся Баруху как откровение — и как разочарование одновременно.

Откровение — это метод. «Правила для руководства ума», «Рассуждение о методе» — Барух читал их в оригинале на латыни, иногда засиживаясь до рассвета, и впервые чувствовал: вот человек, который делает с мышлением то, что надо с ним делать. Декарт говорит: давай сомневаться во всём, что можно поставить под сомнение. Давай начнём с нуля. Давай строить только то, что выдерживает проверку разумом.

Cogito ergo sum. Я мыслю — значит, существую. Это первое, что нельзя отнять: само мышление — доказательство того, что кто-то мыслит.

Барух читал это и думал: да. Именно так. Начинать надо отсюда.

Но потом Декарт делал следующий шаг — и здесь начиналось разочарование.

Декарт доказывал существование Бога. Аргумент был такой: у меня есть идея совершенного существа. Я — несовершенное существо. Несовершенное существо не может породить идею совершенства из самого себя — эта идея должна иметь причину, по крайней мере столь же совершенную. Следовательно, совершенное существо — Бог — существует и вложил эту идею в меня.

Барух читал это дважды. Потом третий раз. Потом отложил книгу и посмотрел в потолок. Что-то здесь было не так. Что именно?

Он пришёл к ван ден Эндену на следующий день с этим вопросом.

— Он доказывает Бога, которого уже знает, — сказал Барух.

— Объясни.

— Аргумент Декарта начинается с того, что у него есть идея совершенного существа. Но откуда он знает, что это идея именно совершенного существа, а не просто — идея существа, более могущественного, чем он? Он говорит «совершенный» — но что такое совершенство? Он не определяет. Он использует слово, которое уже нагружено определённым содержанием — христианским, теологическим. Его «Бог» — это не вывод рассуждения. Это его исходная предпосылка, переодетая в вывод.

Ван ден Энден смотрел на него с выражением, которое Барух со временем научился ценить: выражением человека, который доволен, но не скажет об этом прямо.

— Значит, по-твоему, Декарт нечестен?

— Нет. Не нечестен. Он не лжёт. Он просто не замечает, что делает. Это хуже.

— Почему хуже?

— Потому что нечестного человека можно поймать на лжи. Человека, который не замечает своих предпосылок, — невозможно. Он искренне думает, что доказывает. А на самом деле — иллюстрирует то, во что уже верит.

Пауза.

— И как, по-твоему, надо доказывать Бога? — спросил ван ден Энден.

— Я не уверен, что Его нужно доказывать. Может быть, нужно — определять. Чётко и ясно, из первых принципов. А потом посмотреть, что из этих определений следует.

— И что из них следует?

— Не знаю ещё. — Барух помолчал. — Но это можно выяснить.

Учитель давал книги. Много книг. Гоббс — «Левиафан», который только что вышел и был запрещён к продаже в нескольких городах, что само по себе было рекомендацией. Макиавелли — «Государь» на итальянском, который Барух читал со словарём. Томас Мор. Эразм. И ещё — тексты, которые нельзя было достать в обычных книжных лавках, но которые ходили в рукописях среди людей определённого круга: небольшие трактаты о природе власти, о происхождении религии, о том, не является ли мораль изобретением сильных для управления слабыми.

Барух читал всё это ночами.

Торговая контора ещё требовала его участия — отец болел всё чаще, дела шли труднее, долги росли. Барух вёл счета, принимал поставщиков, писал письма. Днём он был торговцем. Вечером — учеником. Ночью — собой.

Именно ночью, когда дом затихал и свеча отбрасывала жёлтый круг на листы бумаги, он писал — не для кого-то, для себя. Заметки. Вопросы. Попытки ответов. Иногда целые страницы об одном понятии — о субстанции, о причинности, о свободе. Потом перечёркивал. Начинал снова.

В одну из таких ночей — ему было около двадцати — он написал фразу, которую не перечеркнул:

«Вещь, которая существует сама по себе и познаётся сама через себя, — то есть та, понятие которой не нуждается в понятии другой вещи, из которого оно должно быть образовано — это и есть субстанция. И такая субстанция может быть только одна. Потому что если бы их было две — каждая ограничивала бы другую, и ни одна не была бы поистине бесконечной. Но бесконечность не допускает ограничения. Следовательно, субстанция одна. И она бесконечна. И это — Бог».

Он перечитал это.

Снова.

Отложил перо. Посмотрел в окно на тёмный канал.

Если это правда, то всё меняется. Абсолютно всё.

В школе ван ден Эндена была дочь. Клара Мария — восемнадцать лет, тёмные глаза, острый ум и привычка заканчивать чужие мысли раньше, чем их досказывали. Она помогала отцу преподавать — вела уроки с младшими учениками, следила за библиотекой. В кружке старших учеников, который собирался по вечерам в большой комнате, она сидела за боковым столом и слушала — внешне безучастно, но Барух замечал, что ни одно слово её не проходило мимо.

Однажды — после долгого разговора о свободе воли — она сказала:

— Вы оба неправы.

Говорила она по-нидерландски с лёгким акцентом — в доме говорили по-латински и по-португальски, нидерландский был почти иностранным.

— Оба? — Ван ден Энден поднял бровь.

— Вы говорите, что у человека есть свободная воля. — Это к отцу. — Вы говорите, что её нет. — Это к Баруху. — Но оба вы говорите о воле так, как будто это вещь, которая либо есть, либо нет. Как кошелёк — либо полный, либо пустой. Но воля — это не вещь. Это процесс. Вопрос не «есть ли у меня свободная воля», а «что происходит, когда я выбираю».

Барух посмотрел на неё.

— И что происходит? — спросил он.

— Не знаю. Вот об этом и надо думать.

Это был один из немногих разговоров в его жизни, после которых он чувствовал не ответ, а правильно поставленный вопрос. Правильно поставленный вопрос он ценил выше ответа.

Клара Мария вышла замуж за другого — за более богатого, более понятного, более подходящего. Барух поздравил её в письме — коротко, вежливо. О том, что чувствовал, не написал. Может быть, потому что не был уверен, что то, что он чувствовал, имело название.

Однажды вечером, когда кружок уже расходился, ван ден Энден попросил Баруха остаться.

Они сидели одни в большой комнате. Учитель налил вина — простого, дешёвого, которое всегда стояло у него на столе, — и сказал без предисловий:

— Ты понимаешь, куда ведут твои рассуждения?

— В каком смысле?

— В том смысле, что если субстанция одна, и она бесконечна, и это Бог — то твой Бог не похож ни на одного Бога, в которого верят люди вокруг нас. Ни на иудейского. Ни на христианского. Ни на мусульманского.

— Я знаю.

— И тебя это не беспокоит?

— Меня беспокоит другое, — сказал Барух. — Меня беспокоит, правда ли то, что я думаю. Если правда — то, что из этого следует, я разберусь.

Ван ден Энден помолчал. Потом:

— Твой отец знает, чем ты здесь занимаешься?

— Он знает, что я учу латынь.

— Только?

— Только.

Учитель поставил стакан.

— Ты осторожный человек, — сказал он. — Это хорошо. Будь осторожным. Но — он поднял палец, — только в том, что касается людей. В том, что касается мыслей — никакой осторожности. Мысль, которую думают осторожно, не стоит ничего.

Барух кивнул.

— Я стараюсь.

— Я вижу. — Ван ден Энден встал. — Приходи послезавтра. Мы будем читать Гоббса. Там есть место о природе власти, которое меня интересует в связи с твоими идеями о субстанции.

Барух вышел на улицу. Ночь была холодная, с запахом приближающегося дождя. Он шёл по Сингелу и думал не о Гоббсе — о слове, которое произнёс ван ден Энден: *беспокоит*. Его не беспокоило то, что его Бог не похож на других богов. Его беспокоило только одно: возможно ли думать совершенно честно? До конца? Не останавливаясь там, где страшно?

Он ещё не знал ответа.

Он думал: надо попробовать.

Глава 3

«Анатомия ереси»

Михаэль де Спиноза умер в марте 1654 года.

Умер от чахотки — медленно, как умирают от чахотки, с долгими неделями облегчения, которые кажутся выздоровлением, и резкими ухудшениями, которые возвращают надежду к исходной точке. Барух был при нём. Сидел у постели. Читал вслух — сначала Тору, потом просто то, что отец просил. Однажды Михаэль попросил прочесть псалом двадцать третий, и Барух читал — медленно, на иврите, и думал о том, что слова псалма красивы именно потому, что не объясняют, а только называют. *Долина тени смерти*. Не что такое смерть. Не зачем она. Просто: вот долина. Вот тень.

После смерти отца Барух стал главой конторы.

Ему был двадцать один год.

Дела шли трудно. Михаэль оставил долги — не катастрофические, но ощутимые, — и первый год Барух занимался преимущественно тем, что выплачивал их, параллельно пытаясь наладить поставки, которые при отце работали на личных договорённостях, а теперь требовали новых. Брат Габриэль помогал — добросовестно, надёжно, — но у Габриэля не было той деловой остроты, которой обладал Михаэль. Барух, как выяснилось, тоже не обладал. Он был честен в делах, точен, аккуратен — но ему не хватало того инстинкта торговца, который позволяет почувствовать выгодную сделку раньше, чем её увидит разум.

— Ты слишком много думаешь перед тем, как решить, — сказал ему однажды Габриэль.

— Это плохо?

— В торговле — да. Пока ты думаешь, другой уже купил.

Барух смотрел на брата. Потом — на стол, заваленный накладными. Потом снова на брата.

— Я понял, — сказал он.

Но не изменился. Думал по-прежнему. Торговля шла по-прежнему.

Кружок, который собирался несколько раз в месяц, стал важнее конторы.

Это не было формальным обществом — скорее привычка нескольких людей собираться в одном месте и разговаривать. Симон де Врис снимал небольшой дом на Кейзерсграхте, и его гостиная по вечерам превращалась в нечто среднее между диспутом и ужином. Приходили разные люди: молодой врач Людвиг Мейер, который уже тогда отличался тем особым сочетанием ума и такта, которое делает из человека хорошего собеседника; Ян Риёверц — книгоиздатель, читавший всё, что печатал, и имевший собственные взгляды на всё прочитанное; иногда — молодой Альберт Бург, сын богатого амстердамского семейства, пылкий и непоследовательный, как бывают пылкие молодые люди.

Барух читал вслух. Не книги — собственные заметки. Свои первые попытки изложить то, что складывалось в голове.

Первый раз — с извинениями, с оговорками, с «это только черновик».

Второй раз — без извинений.

Третий раз люди просили его принести записи заранее, чтобы успеть подготовить вопросы.

Однажды вечером он изложил тезис, который поменял температуру в комнате.

— Бога нельзя понять как личность. — Он говорил медленно, тщательно, как говорят люди, которые знают, что слова важны. — Когда мы говорим, что Бог гневается, или милует, или радуется — мы переносим на Него человеческие свойства. Это антропоморфизм. Он понятен, он удобен, он нужен для молитвы и проповеди. Но он ложен. Бог — если понимать это слово точно — это то, что существует само через себя, что является причиной себя самого и всего остального. Это не личность. У личности есть желания, цели, настроения. Бог — это не желание и не цель. Бог — это то, что Спиноза Аристотель назвал бы первоначалом, только взятым до конца: не первый среди многих, а единственный.

Молчание.

— Это атеизм, — сказал один из присутствующих — молодой юрист по имени Петер Балинг, человек обычно сдержанный.

— Нет, — ответил Барух. — Атеизм — это отрицание Бога. Я не отрицаю. Я говорю о Боге, которого нельзя отрицать, потому что он тождествен самому существованию. Отрицать его — значит отрицать, что что-то есть. Это логически невозможно.

— Но такой Бог не слышит молитв, — сказал Мейер.

— Нет.

— Не вознаграждает и не наказывает.

— Нет.

— Не вступал в завет с Израилем.

— Нет. Завет с Израилем — это исторический и политический факт. Важный факт. Но его источник — в природе человеческих обществ, а не в воле существа, стоящего над природой.

Бург вскочил:

— Но тогда что такое Тора? Что такое заповеди?

— Тора — это свод законов и историй, которые создало еврейское сообщество для своего сохранения и нравственного воспитания. Это ценно. Это важно. Но это человеческое. Не потому что плохое — а потому что созданное людьми для людей.

Т ишина была другого рода — плотная, почти осязаемая.

— Ты понимаешь, что ты говоришь? — спросил де Врис. Не обвинительно — с тем особым выражением человека, который хочет убедиться, что правильно понял.

— Да, — сказал Барух. — Понимаю.

— И не боишься?

Он подумал секунду.

— Боюсь ошибиться, — сказал он. — Боюсь сказать что-то неточное. Остального не боюсь.

После этого вечера Симон де Врис отвёл Баруха в сторону и сказал, что несколько человек из присутствующих — не он, но другие — могут донести. Что слова о Торе как человеческом произведении — это именно то, за что отлучают. Что надо быть осторожнее.

Барух слушал.

— Ты думаешь, я должен замолчать? — спросил он.

— Я думаю, ты должен выбрать.

— Между чем и чем?

— Между тем, чтобы думать вслух, и тем, чтобы остаться в общине.

Барух смотрел на Симона. Симон был добрым человеком — искренним, преданным, готовым на многое ради дружбы. Он предлагал Баруху деньги — большие, достаточные, чтобы не работать в конторе совсем. Барух принял небольшую сумму — ровно столько, чтобы не думать о хлебе — и отказался от большего.

— Я выбрал, — сказал Барух.

— Когда?

— Давно. Просто не всегда знал, что выбрал.

Раввин Мортейра пришёл сам.

Это было неожиданно — обычно вызывали к нему, а не наоборот. Но однажды утром, когда Барух был в конторе и разбирал накладные, дверь открылась и вошёл раввин — без предупреждения, без ученика, один.

Мортейра был стар. Барух видел его часто, но сейчас заметил это особенно отчётливо: старый человек с тяжёлой мудростью в глазах — мудростью не приятной, а той, которая накапливается от долгого наблюдения за тем, как люди делают ошибки.

— Я слышал, — сказал Мортейра без предисловий.

— Что именно?

— Достаточно. — Он сел — не спрашивая разрешения, по-хозяйски, как садится человек, который привык, что ему уступают. — Барух, я знал твоего отца. Я знал тебя с пяти лет. Ты был лучшим учеником, какой у меня был за сорок лет. Это я говорю не для того, чтобы польстить. Это факт.

— Я слушаю.

— Именно поэтому я пришёл сам, а не вызвал тебя. Ты можешь думать, что хочешь. Никто не может тебе запретить думать. Но ты говоришь. — Он поднял палец. — Это другое.

Ты говоришь вещи, которые разрушают основы. Не твои основы — основы общины. Людей, которые держатся вместе только потому, что верят в одно. Разрушь эту веру — и что останется?

— Останется разум, — сказал Барух.

— Разум не кормит детей. Разум не хоронит мёртвых. Разум не держит людей вместе, когда мир снаружи хочет их уничтожить.

— Нет. Но ложная вера — тоже не держит. Она только откладывает.

Мортейра смотрел на него долго.

— Ты можешь молчать об этом, — сказал он наконец. — Никто не заставляет тебя говорить всё, что ты думаешь. Молчи — и оставайся.

Барух подумал о разговоре с отцом. Думать всегда можно. Говорить — не всегда.

— Вы же не этому учили меня в школе, рабби, — сказал он.

— Я учил тебя Торе.

— А Тора учила меня искать истину.

Пауза.

— Тора учила тебя искать истину в определённых пределах, — сказал Мортейра. — Пределах, установленных Богом.

— Кем установленных пределов? — спросил Барух тихо. — Богом — или теми, кто говорит от Его имени?

Это был конец разговора.

Мортейра встал. Надел шляпу. У двери остановился и сказал — без гнева, без осуждения, почти с нежностью:

— Я жалею тебя, Барух. Не потому что ты неправ. А потому что ты одинок.

— Может быть, — согласился Барух.

Мортейра ушёл.

Барух сидел за столом с накладными и смотрел на дверь, которая закрылась за старым раввином. Потом взял перо. Отодвинул накладные. Написал на чистом листе:

«Мудрость — это не знание того, что думать. Мудрость — это знание того, как думать. Первому учат. Второму — нет. Второму человек учится сам, и цена этой учёбы — именно то, о чём сказал раввин: одиночество».

Дело Уриэля да Косты он знал с детства.

Уриэль да Коста приехал из Португалии в начале века — как многие марраны, как многие из тех, кто приехал в Амстердам в поисках свободы открыто исповедовать иудаизм. Но Уриэль обнаружил, что иудаизм, который он себе представлял по семейным преданиям, и иудаизм амстердамской синагоги — разные вещи. Он стал задавать вопросы. Его отлучили. Он написал апологию. Его отлучили снова. В конце концов — после второго отлучения, после публичного унижения, которому его подвергли в синагоге, — он застрелился.

Баруху было семь лет, когда это случилось. Он не помнил самого события — только разговор взрослых, обрывки фраз. Потом, уже подростком, прочёл — в рукописи, которая тайно ходила по рукам, — его «Образец человеческой жизни». Небольшой текст. Горький. Написанный человеком, которого сломало одиночество.

Барух думал об этом теперь — о да Косте — и понимал разницу.

Да Коста хотел быть принятым. Он задавал вопросы — и ждал, что ему ответят. Он писал апологии — и ждал, что его поймут. Когда не ответили и не поняли — он сломался.

Барух не ждал ответа. Не потому что был холоднее или сильнее. А потому что у него было занятие. Рукопись на столе. Вопрос, требующий следующего шага. Когда тебе есть чем заняться в одиночестве — одиночество другое.

Это было не гордостью. Это была просто констатация факта — спокойная, без самолюбования.

Я выдержу. Потому что мне есть чем заняться.

Глава 4

«Херем»

За три дня до отлучения Габриэль пришёл вечером.

Они сидели в конторе — Барух за столом, Габриэль на стуле у стены, как сидят люди, которые пришли с важным разговором и ещё не начали его. За окном шёл дождь — мелкий, летний, больше похожий на туман, чем на дождь.

— Они решили, — сказал Габриэль.

— Я знаю.

— Ты мог бы сказать что-нибудь. Попросить. Они бы нашли способ... — Он остановился. Начал снова: — Им не нужен скандал. Они хотят, чтобы всё утихло. Если ты скажешь, что...

— Нет.

— Ты даже не дослушал.

— Я слышал этот разговор уже три раза. — Барух поднял на брата взгляд. — Симон говорил мне то же самое. До него — Балинг. Мортейра сказал почти теми же словами. Ответ одинаковый.

— Ты ломаешь семью, — сказал Габриэль. Не с обвинением — с болью, что было хуже.

— Семья существует, — сказал Барух. — Это не изменится.

— Что это значит?

— Это значит, что я люблю тебя. И буду любить. Что бы ни происходило в синагоге — ты мой брат. Это факт, не зависящий от решений старейшин.

— Со мной нельзя будет говорить! С тобой нельзя будет говорить!

— Официально. Но мы же сейчас говорим. — Барух чуть улыбнулся — не весело, но настоящему. — Я думаю, мы и дальше найдём способ.

Габриэль встал. Прошёлся по комнате. Остановился у окна — смотрел на дождь, на тёмную воду канала.

— Я не понимаю тебя, — сказал он наконец. — Никогда не понимал. Ты думаешь, это всё не важно? Что нас выбрасывают из единственного мира, который у нас есть?

— Это важно. Очень.

— Тогда почему ты не...

— Потому что, — сказал Барух медленно, — ложь, которая сохраняет место в общине, это не честность. А я не умею быть нечестным. Не потому что добродетелен. А потому что это — как ходить с камнем в сапоге. Можно. Но с каждым шагом больнее.

Габриэль повернулся. Посмотрел на брата — долго, с тем выражением, которое бывает, когда человек пытается запомнить лицо перед разлукой.

— Ты всегда был таким, — сказал он. — С детства. Отец знал, к чему это приведёт.

— Отец говорил: думать можно, говорить — не всегда. Он был прав для своего времени и своего места. Я — для своего.

Габриэль ушёл, не прощаясь — просто встал и вышел. Барух сидел и слушал, как затихают шаги на лестнице.

Потом встал, налил воды, выпил. Сел снова.

Они расстанутся. Но не навсегда. Потому что любовь — это не мнение. Её нельзя отметить херемом.

В день отлучения он встал рано.

Не потому что нервничал — скорее потому что не мог спать. Лежал с открытыми глазами и слушал, как просыпается город: сначала далёкий колокол, потом голоса лодочников на канале, потом скрип телеги на булыжниках.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.